

АНДРЕЙ ЮРЬЕВ



18+

ТЕ, КОГО ЖДУТ

Андрей Геннадьевич Юрьев

Те, Кого Ждут

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12487142

ISBN 9785447418212

Аннотация

Повесть «Те, Кого Ждут» была издана еще в 2000 году. Язык произведения метафоричен и может показаться сложным неподготовленному читателю, но настроившимся на одну волну с автором он принесет удовольствие от прочтения! «Те, Кого Ждут» – о страсти, открывающей «Двери Сознания», о любви, преодолевающей даже смерть.

Содержание

Ты ли любишь?	5
Последние капли	17
Очевидное-нежеланное	20
Ее зеленое пламя	26
Тихий танец	30
Чистое отражение	34
Сомнительное удовольствие	39
Темные строки	44
Праздник, который всегда ты	51
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Те, Кого Ждут

**Андрей
Геннадьевич Юрьев**

Дизайнер обложки Андрей Юрьев

© Андрей Геннадьевич Юрьев, 2019

© Андрей Юрьев, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-4474-1821-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ты ли любишь?

Четвёртый день тополя пылят снежностью.

Сдувать с тебя пушинки, вздрагивая, не смея осквернять дыханием.

Вдыхать пушинки, прильнувшие к твоим губам – в этой гиблой, глухой аллее ты отчего-то чувствуешь себя излишне вольной.

Впивать твои переливы: от плеча и к талии – наивно надеясь на долгий, длинный, тёплый ливень – лишь бы платье, влажное, влилось в неуловимые ложбинки: выступили линии изножья: ненадёжно, обманчиво: припушенные лёгкой кружестью – но небо брызжет на плечи бронзовой пылью – влагает в душу лишь жажду – мы прячемся под струи полумрака в полупустом кафе...

Слушать, как из-под пляшущих пальцев каплют пьяные звуки – ланк! ланк! лонк! – от палевых клавиш слонится дурман: звучащее марево, и чудятся ландыши – в полнолунную полночь так чутко дышится: мерцающим лучением зрачков, волнами волос – а в них купается мой перстень, всплывает: змея впивается в изящество цветка, в самую чашечку – серебрится змейка вдоль твоей улыбки – не лови так жадно, не целовывай искры с мальчишеских пальцев – я стесняюсь: словно сам Рахманинов заласкан в налитую лунной полировку рояля: насмешливо следит: я стесняюсь – так

*жалостливо: жестами пленённой королевы: отталкиваешь
руки, рвущие шнуровку – я вызволяю: из плена платья –
и коршунном, стремглав, проваливаюсь в небо...*

Вот что хочу воскресить. Иначе тополя просто оплещивеют. Я жив, пока я представляю воскрешение...

*Неслышимый, он покидает святилище славы, всплывая
клубы туч – и грусть волочится по пустоши неба, смета
я звёзды морозящей пленой – а в тучах презрительно
посвистывают вслед и щелчком плюют насмешки молний:
«Отреченец!». В разостланную хмарь ничком валится вечер.
Все часы мира замирают. Приходит ночь сердца, без лун
и звёзд – даже лилия, Колыбель Бога, становится цветком
Тьмы, наивность и невинность – ненавистью. Те, кто уме
ют ждать – умеют видеть сквозь мглу – в раскрытый зра
чок ночь бросает вороха своих лилий – Те, кто умеют до
верять, смыкают веки в крошечной тьме – они надеются
на рассвет новой жизни – они знают, что первый же луч
раскроет Колыбель, белоснежную.*

– Вороха своих чего?

– Лилий.

– Недурно. А ещё?

*«Я подобрал Ключи От Всех Дверей. Я подобрал потеряян
ное Смертью», – у двери выставлен органчик – бросай мо
нетку, пискнет диск, скрежетнёт: «Джэнглинь Джэжк, хау ду*

ю ду да да ду», – Кэйвом здесь упиваются – и каждому входящему вливают в ухо тонику грусти: «*Do you love me?*». Ты ли любишь? – кто шепетилен и чопорен, кто разнуздан и лют – тех здесь не ждут.

Да, попрошу заметить – у входа выставлен органчик, и ошалевшие от городского гула, вваливаясь, стряхивают с плеч навязчивую тьму, поспешно роются в кармашках, кошельках, расшитых портмоне... Успокойтесь. Никто здесь не вслеживается в ваше состояние. Вас тревожит ночь? Никто не выслеживает, какую дань вы платите бессоннице. А в нашем грубенорье ночь навязчива, путается в ноги баснословными шлюхами и косноязыкими попрошайками, а есть ведь еще и люди, никогда не видевшие собственных теней. Особая такая разновидность кротов-кровососов. Не беспокойтесь – у нас их не ждут.

Что вы, какие коктейли! У нас не бывает коктейлей – в меню не предусмотрены путаницы и случки. Всё самое ясное – русская водка, французское шампанское, венгерские и молдавские наливки. Детям? Вы с детьми? На весь вечер? Очень лестно! Как насчёт молдавских сказок – о Полуночнице, о железном волке, похищающем невест, о Фэт Фрумесе, обручившем Солнце? Так вам на второй этаж, в Тихий Зал. Что буяните? Этот остролицый стихоплёт, вообще-то, не заказывал коктейль. Он сказал «*Bloody Mary*». Только – блуд отдельно, Мэри отдельно. Его не троньте. Это Владов. Даниил. Андреевич, конечно. Он, он это придумал. Он придумал

на Карпатском бульваре местечко «Для тех, кого ждут».

И ты, зеленоглазая гордячка, ты ужеходишь, нет, в глухую колокольную мольбу: «Do you love me?» – ты не встонешь своих колокольцев: «Да, люблю, долгожданный». Ты всё ещё пробираешься между столиков к стойке, и белоснежным облачением напрочь отсветляешь вкрадчивых ароматников. Ты всё ещё стесняешься отвлечь плечистого бармена, взвешиваешь на ладони медальон, вспученный чеканкой, а Милош, и не вслушиваясь в строй строфы, уже приценивается – взять в заклад твой оберег? Или влепить пощёчину, чтобы не смела продавать заклятых любящими талисманов? Или уже распахнуть навстречу губы улыбкой: «Вам никогда не говорили – ваш профиль надо бы чеканить на монетах?».

И Владов, птицей выбиваясь из хмельного забвения... Как страшно вновь сказать: «Зоя, я когда-нибудь ослепну от твоих нарядов»? Как страшно вновь встречаться с несбывшейся мечтой.

Зоя, озолоченная солнцем Зоя, твое рыжее безумие не меркнет никогда: «Я знаю только одного фальшивомонетчика – лжепророка Даниила. Да, вот, фальшивомонетчик! Без меня ты вечно размениваешься на мелочных баб. Ну, здравствуй, что ли, сердцеед чёртов?».

– Да хоть мозгоклюй, лишь бы не спиногрыз, – Милош Борко никогда не жеманничал при встречах...

– Ты послушай только, Зоя!

Встречи, разлуки – словно волны: бьются, бьются о берег души – рушатся крепости: возведённые предками, облагороженные тобой – и шелест голосов в отливы одиночества смывает обломки – как хрупка твердыня гордости! Я люблю тихие отмели – где янтарные бусинки среди песчинок воспоминаний – где причудливые раковины шепчут гимны грохоту бурь... Золото сверкающих улыбок – на кончиках пальцев моих; искорки гневливой ярости опалили мне ресницы; покровы души моей изъедены молью сердец ненавистников, моливших о возмездии – трепет памяти! Касавшиеся слишком суровой ткани твоей вплетали в неё ниточки радости, встревали иголкой грусти, ладили мне судьбу наслаждением – одолевать её заставы, длить нежданную нежность – наслаждение творить и быть творимым – я надеюсь: мой лик запечатлён: печатью – на листах истории сердец... Я знаю гордость одиночек, представляющих верительным грамотам дружбы Герб.

– Что это?

– Не Что, а Кто! То есть... Это всё! Что, кто, почему, зачем, всё в одном имени! И в одном лице, конечно. Это Слава. Это ведь брат мой, это мой разум и сердце моё, но в другом теле, в другой жизни, понимаешь? Это я, но в другой жизни, другой я! Это ведь и моя будет книга, нет, для другого меня

это будет книга!

– А для тебя?

– Он – это я. Но я-то не он, я её не писал, и для меня это не книга, это Минус Книга!

– Подожди, ты что-то путаешь. Милош, плесни ему ещё. Минус дозу в минус стакан. Что получится, Владов?

– Или минус разговор, или плюс сон. Нет уж, нет уж! Нет уж, я издам его! Представь, только представь – это не обложка, это оклад! Дубовые дощечки с кожаным покровом, чернейшим, узорчатое тиснение, и – рельефно, золотистым, солнечным – Вячеслав Владов, Доверие, Славия! Не – «издательство «Славия», просто – «Славия»! Ёмко, кратко, велико. Мы шрифт разработали – рунический, буквы словно девичьей рукой вывязаны, бумага – текстурированная, ворсистая, словно гобеленовое полотно, это не том стихов, это – фолиант! Не потащишь в метро, не впихнёшь в Интернет – это не читиво, это любимая собирала письма и сберегла для наследников!

– Мальчики, вы ничуть не изменились.

...ведь я ничуть не изменился, я всё ещё трезв, относительно трезв, я ещё относительно ясно чувствую и мыслю, я всё опишу тебе, Слава, дух мой, другой я, сам узнаешь, каково это – изо дня в день пропитываться настроениями Минус Книги, ведь она живая, она говорит своим языком о минус мире. Станный язык, причудливый – сбивчивый

рассказ человека, испытавшего Нечто, с чем он никогда ещё не сталкивался, никогда не переживал ничего подобного, ни от кого не слышал рассказов о схожих ощущениях, которые не втиснешь в прокрустово ложе понятности, скромности выражений – так стоит ли повествователю быть умеренным в своем восторге, в своём отчаянии? Когда тебя пронзает молния, когда она, как огненная змея, проскальзывает от темени до кончиков пальцев – сможешь ты с полусгоревшим сердцем рассуждать о природе гроз? Найдут ли общий язык тот, кто ужален змеей, и змеевед? Станет ли отравленный копаться в справочниках ядов? Зачем? Чтобы что? Чтобы успеть в предсмертной записке описать причину своей гибели? Неправда. Ложь. Скорее, он опишет свои последние переживания и то, о чём ещё способен вспомнить – и пусть на совести наследников останется исполнение завещаний. Когда сталкиваешься с неведомым, выкрикиваешь то, что само легло на язык, выговариваешься так, как кричит сердце. И пусть Минус Книга говорит сама за себя, я не намерен ей мешать примечаниями и переводами на язык учебников грамматики. Я...

– Владов, а денег тебе хватит? А гонорар Вадимке? Ты же обещал. Долго мы гонорара дожидаться будем?

Охтин хватанул ртом воздух.

– Даниил Андреевич, ещё «Блудливой Маши»?

Охтин только помотал головой и ткнул лоб в стойку. Руки

СВИСЛИ.

– Даниил Андреевич, похвались!

– В раскрытый зрачок ночь бросает вороха своих лилий.

– Прекрасно. Прекрасная небыль.

– Зачем мне быть, если ты – моя сказка?

Зоя, Зочка, Зоенька, они называют это ушной раковиной, так написано во всех словарях. Если это – раковина, то шёпот твой – волнение моря в ожидании солнца, шёпот твой – посреди штиля эхо бури: «Владов, не пей больше, уедем отсюда, пока не поздно, уедем вдвоём, сегодня или никогда».

– Даниил Андреевич, что замер? Ты не умер? Сдохнешь – похмеляться не приходи.

– А ты мне крест в сердце вбей.

– Парни, вы думайте, что говорите!

– Это можно. Вот, например, я думаю: как и огонь, жизнь добывается трением. Трение – противодействие. Действие – любовь. Стало быть, секс противен любви.

– Не знаю, что чему противно, но запомни, Владов – Вадима я люблю, и зачну ему ребёнка единственным способом.

– Ну и зачем тебе ребёнок?

– Я хочу продолжиться в нём.

– Ты – видишь его сны? Кормишь его грудью, ты – чувствуешь вкус своего молока? Он вотрётся в тело невесты, ты – почувствуешь, как он изольётся? Продолжиться в нём?

Облечься в свежее тело? Неправду сказала, ой неправду!

– Я хочу любить его, пока жива.

– Он – чужой?

– Он – мой.

– И ты воплотишь в нём свою мечту о лучшей жизни? Ты воспитаешь в нём воплощение мечты?

– Надеюсь.

– Чтобы любить, ты создаёшь любимое. Ты порождаешь руду, сырец, ты насыщаешь её достоинствами, ты формуешь, лепишь – пре-об-ра-жа-ешь по своему усмотрению. Он – твой, твой собственный, ты владеешь им. Он противится твоим желаниям, твоим устремлениям, он сбивается с пути, который ты считаешь правильным – ты направляешь, наказываешь, уговариваешь – ты влияешь. Он – твой воин, он завоёвывает добычу, он покоряет жизнь, он приносит славу породившей его – ты властвуешь. Власть, влияние, владение. Прости меня, это не любовь, это не желание любви, это желание власти, прости.

– Но я же жертвую своей кровью ради него? Разве жертвовать не значит любить?

– Война за власть не обходится без жертв.

– Владов, ты или бессердечный дурак, или гений. Постой-ка, ты ж ведь был женат! Уж ты-то, мне казалось, жертвовал чем ни попадя.

– Видишь ли, Зоя: жертвуешь сердцем – а хотели бедрышко косули, приносишь нежность – а хотели хрен слона, они

всё врут, Зоя, врут, они сожрут меня, высосут мне сердце, Зоя, они врут о любви!

– Ну что ты, Охтин, не плачь, ты что? Люди смотрят.

– Девушка, я давно прислушиваюсь к вашему разговору, уж извините за любопытство. Бросьте вы этого сопливого алкаша! Каждый молодой мудака мнит себя великим художником и смеет болтать об Эросе. Он оскорбил ваше материнское чувство – сам, видимо, не помнит, как появился на свет. Вы называете его то Владовым, то Охтиным, кто он? Эй, пьянчуга, ты себя-то помнишь? Кто тебя родил?

Владов поднатужился. Владов сжал виски, накрепко, чтобы поднять со стойки голову бережно, не шелохнув разлитую под веками жижу – не дай Бог взболтнуть! – взбурлит, нахлынет, вырвет наизнанку – вырвется из-под сердца змей. «И всех вас сожрёт». Этого Владов боялся. Глаз открыл только левый – правым следил за бурлящим в болоте змеем.

Из-за плеча Крестовой тарашился патлатый бородач.

– От ваших Эросов пахнет потом, маслом и мясом. Вы просто орда прихотливых похотливцев. Борко, воды на башку, воды! Я жив, я ему жилы вырежу!

Кто сказал, что Охтин не помнил родителей? Даниил Андреевич не вспоминал. Милош впервые нахмурился – бульк! трак! – стукнул налитым стаканом так, что Зоя спохватилась, схватила стакан, протиснулась-таки между сопящими парнями и ткнула Владову водку прямо в гордо выпяченный подбородок.

...и подтверждаю, что в 22 часа 53 минуты по местному времени Милош Борко (уроженец Белграда; статус беженца официально присвоен службой иммиграции Чернохолмской губернии по личному ходатайству господина Шпагина; в связях с иностранными спецслужбами не замечен) произвёл преднамеренные телодвижения, переместившись из-за стойки принадлежащего ему бара «Для тех, кого ждут» к находившемуся перед стойкой в нетрезвом состоянии гражданину Владову, и, вкратце, заявил:

– Даниил Андреевич, хороший наш, минуточку твоего внимания! Данила! Я тебе вот что советую: ты объясни этому, с позволения сказать, художнику, что такое пулевое настрояние, но объясняй доходчиво, вежливо, внятно. Хорошо? Ох, прелесть какая! Нет, Владимировна, спокойно, сядь.

...а гражданин Владов направился в сопровождении неизвестного гражданина вглубь служебных помещений ресторана «Для тех, кого ждут»...

...а гражданка Крестова Зоя Владимировна, прибывшая с неизвестной целью из города Белоречье, разд обнаже разоблачилась, её след присовокупив при этом:

– Что ты всё – «Даниил Андреевич, Даниил Андреевич», я как звала его «Владов», так и буду звать, не надо, толь-

ко не стоит мне перечить, не надо. Милош, повесь там у себя мой жакет, пожалуйста. Что за жуть! К чему такая жара? О чём они там вообще думают?

– О судьбах мира всё, небось, по небесной-то привычке.

– Только не смеди: о судьбах мира! Олухи царя небесного! Где тут у вас думают о смысле жизни?

– Это дело стоящее. Пошли, покажу.

...но дальнейшее наблюдение не представлялось возможным, поскольку прямо передо мной возникли сначала группа молчаливых людей в чёрном, потом какие-то синие круги. С моих слов записано верно.

Последние капли

Это было «вот и всё». Иначе не скажешь. Как ещё сказать?

Владов вывел кудряшечного бородача на какие-то задворки и задверки. Где-то гудел Карпатский бульвар, моложавый вечножитель. Там прогуливались, выгуливали, уходили в загулы – здесь, в корявых чернохолмских переулках, шастали похмельные отгулки. Там раскланивались и пожимали руки. Здесь Владов, скрытый изморосью сумерек, навис презирающим призраком:

– И кто ты такой?

Как Даниил и ожидал – Кудряшов, свободный художник. Владов назвался.

В притихшее небо вонзилось: «ниил», – и лопнулось молнией. Что-то чем-то лопнулось – и плетью хлобыстнули водяные струи. «Нечего меня подстёгивать», – обозлился Владов, – «я не пророк и не гонец, я на земле постоялец».

У ног Владова суетился визгливый человечек: «Я же не знал, я приезжий, не знал!». «Свободен», – сквозь обод губ сами собой рождались звуки, – «пока свободен. Копи здоровье».

Зоя вернулась. Что изменится? Что будет? Что было? Что есть?

Охтин, вымокший тихоня, сглатывал слёзы. Плакал. Как плачут иконы, не в силах больше видеть бесплодно сгораю-

щие жизни. А ведь Зоя с огневыми блёстками в египетских глазах, – когда-то Зоя таяла перед Владовым, как свеча перед иконой. Пламечко её желаний: жадное, неуёмное – не задышалось и не гасло, но Охтин видел – остались последние капли. Последние капли мягчайшей нежности. Скоро родник радости совсем иссякнет. Охтин сглатывал слёзы и чувствовал: влажная тьма – это всё. Следом к сердцу подступит пустынная сушь. Останется только мираж воспоминаний. Останется только призрак.

Владов не боялся призраков. Нет. Ни капельки. Ему ли, зачинщику призрачных плясок, бояться грозных невидимок? Если есть чему вспомниться – стоящее вспомнится, само собой всплывёт из омута памяти...

С чего слезиться? Что случилось? То и случилось – снова возник призрак любви, готовой воскреснуть.

Владов не стал ждать воскрешения.

Охтин: «Тебе выбирать! Стану перед тобой – как зеркало твоих намерений».

Даниил открыл дверь.

Владов, куда ты плещешь?! Не горюй, Владимировна, Милош, что, куда с ножом, спасите, режут, стой спокойно, вот и всё, юбка без верха, и сними ты свой лиф, тебе ж дышать нечем, ух ты, богато, надевай-ка свой жакет, чудненько.

Ну что, губители, довели до греха, держите и это, Милошу в лицо кружевное, нежное. Рыжая, бесстыжая птица-зой-

ка, вспорхнувшая на стойку бара, туфельки на стойке, настойчиво набоечки клёкают. Снежана, я звал тебя Снежана, я знаю, как долго не тают снежинки на твоей груди, как в лю-
тую метель стыдливými слезами – но я не вкрадывался про-
меж тебя, нежности без нижностей, дерзости без низости,
что ж ты, Зоя-танцовщица, не прячешь бронзовеющих бо-
гатств, я убью твою юбку, о бл...

Очевидное-нежеланное

«Облеку тебя ладонями!» – проорал Охтин и притих.

Водка выручала Милоша, когда ему было гнилостно на душе, водка выручала Зою, когда поцелуи Владова уже веяли у виска, но водка никогда не выручала Охтина Данилу – напротив, становилось душно и тошно, и больно было знать, что Зоя замужем, что муж обожаем, что двое детей никогда не узнают забот безотцовщины – и больно было знать, что Зоя никогда не отважится на – и сам он уже не рискнёт, хотя бы даже втайне, обидеть чем-либо её мягкоглазого портретиста.

Думая об этом, Охтин снова становился Владовым, и смурнел, и северел, и зверел, и вышвыривал с ночью пришедших постельничьих, как он называл соседок по сну. Длинноногие постельные принадлежности боялись Владова, только это почему-то его вовсе не радовало.

Сегодня Владова боялся Охтин. Бояться было чего – всё на месте, все вещи при хозяине, весь Охтин при себе – стало быть, ничего не подарил: не случился праздник, не сверкала щедрость – это душило. Неприятен был пол под лопатками, замшевые туфельки у самого виска, чьё-то платье под затылком, всплеск у век – чьё, чьё, страх. Вдох, встать!

– Очнулся, шалунишечка?

Плечо окольцевала змейка – по шелковистой к локотку струится – и лодочкой ладошка так раскованно сплывает – меж солнцем налившимися, спелых – спуталось каштановое буйство. Охтин сомлел. Даниил расстроился: «Что-то я теряю способность описывать женское тело». Владов съязвил: «Описывать, подглядывая за красотами – это позор».

– Девушка, вам пора выметаться.

– Вы мне должны. Я вам должна. Вдруг это любовь?

– Спасибо. Лестно. Выметайтесь.

– Не обольщайтесь. Вы не красивы. Где-нибудь в перелуке, на перекрёстке – я бы не влюбилась. Профиль шута, взгляд одержимого, речь правдолюбца, голос неженки. Адский коктейль! Я вас боюсь. Вы обаятельны. Вас надо законодательно заставить молчать.

И – враз ловко развела колени:

– Что вы остолбенели? Хотите? Сюда вот, где мой пальчик, видите? Куда я пальчик обмакиваю – сюда попасть хотите? Да что вы? На этот счёт я обязательств не давала.

Охтин, ошалевший, сглотнул слюну:

– Вы о чём?

– Вон, на столе – читайте.

Дробно, пузатыми буквами:

Не соблаговолите ли Вы, сударыня, через день, четырежды в неделю услаждать мой взор Вашими прихотливыми повадками вкупе с причудливыми выходками, не остав-

для при этом в одиночестве атрибут моего самолюбия, без излишних, впрочем, натисков и происков? Если снизойдёт на то Ваша воля, то и я преклонюсь данью невеликой, но основательной. Откланиваюсь,

последний из Ордена Дракона, Даниил ВЛАДОВ

– Я это писал? – просипел Охтин, изумляясь приписочке: мелким, слитным бисером:

*На титул и замок согласна. Наследников не предлагать.
Кочующая в поисках любви.*

– Не писали – складывали по слогам. Но – величали королевой. И возмущались посреди Лётной Площадки: «Что нам мешает заняться любовью прямо сейчас? Соперников – на кол!». Всё платье мне испортили своими излишествами. Где же мой скромный гонорар?

– Сколько я вам должен?

– Ммм... Вчера вы предлагали мне стать владелицей вашего сердца, и... Впрочем... Это-то меня и впечатлило. И ещё вы обещали рассказать легенду об Ордене...

Отчего мне так противно любоваться тобой? Болотисто на языке, а в ушах ещё вдобавок топчутся карлики в плюшевых ботах, в ноздри какой-то великан встрял, и всё чихается, чихается! Как хочется курить! Да, я Владов, я всегда был Владов, я буду Владовым внуком до скончания вре-

мён, что бы ни говорили об этом алхимики брачных контор, я – буду. Орден Дракона? Дед был хранителем этой легенды, но почти никому её не рассказывал, потому что никто его не понимал. И меня никто не понимает, но мне всё равно, потому что перед смертью дед успел вложить мне в ладонь вот этот перстень и медальон для Зои. Так и сказал: «Для Софьи». А что за руны внутри перстня, этого я тебе не скажу, шлюшка-каштанка. И вообще – ты врёшь.

– Вы врёте, Клара, как базарная торговка.

Недоумённо повела плечиком:

– Почему вдруг «врёте»?

Кареглазая, а взгляд с подпалинкой, с горчинкой, и жадная, это заметно, скрадёшь ещё какой-нибудь клавишник. Я не помню, откуда ты взялась, тоже, наверное, из этих, кто сдаёт бессонницу в аренду. Тогда иди ко мне, девчонка, расплачусь на свой манер – поцелую в лобик, в каждый из припухлых сосочков, в лобочек – всё, Клара на веки веков, клеймёная мной. Словно тёмный ангел, живущий ниже сердца, подбивает богохульствовать, он всё заносит в список, подглядывает из-за плеча, как я прильнул к сочному цветку, чуточку с миндалем, кофе с коньяком, и всё пишет, пишет о том, чего не было, но могло быть, о чём можно только догадаться – пишет не книгу о том, что случилось, а Минус Книгу о тёмных смыслах...

Пружиняще отпрянула:

– Спасибо, сладенько, но мы, дружок, не договарива-

лись...

Я тебе не тобик, не бобик, не дружок. Ты врешь. Вчера был дождь, я заблудился в ливне, отстал от Милоша и Зои, ты просто вымокла, и что ты там плела про мутную, взбаламученную жизнь? Не надо, я сам не вчера выучился врать – складывал стихи, не надо. Ты просила не оставлять тебя одну под дождём? Вот беда – постель у меня одна, и вот уговор – спим вместе, но ни-ни, не мечтай даже, я не растлеваю малолеток. Всё, теперь я буду курить и следить, как ты пытаешься выпотрошить диван, рассерженно вцепившись коготочками в простыню, сжавшись в кулачок, в кошачью лапочку.

Всё просто: будешь младшей сестрой – наивным ребёнком. Не беда, что не можешь ложиться на живот, оттого что грудь томит, каменеется, и хочется терзать проклятую припухлость – капли вишнёвой смолы, вяжущей истомы – чуть тронешь, и фантазии слепляют, склеивают веки – чуть тронешь: тяжелеют капли на гибком смуглом стволике...

Валяйся на спине, хвались приснившимся красавчиком, в прозрачный потолок окунай коленки – там, в небесном озере, плеснётся новая русалка: поселится девочка, полюбившая блуждать ладошкой в поисках будущих секретов...

Так и осталась, впихнув пузатый рюкзачок под стол, заставленный компьютерной лабуденью, громко именованной «искусственным интеллектом», – под стол, заваленный макетами чужих монографий и сборников. Владов, выдумав рекомендательные записки, поклялся приискать для Клары ме-

сто. И выводил. Как договаривались.

Солнце лилось на землю жидким желтком.

...между нами говоря, времени нет. Не то чтобы его не хватает на овладение желаемой целью или желанными – нет. Его попросту нет в природе. Есть истечение солнечного света и изливания Духа; есть энергичность и выносливость; есть мощь характера и пронзительность интуиции. Есть одушевлённая ярость и неодушевляемая скорость обращения Земли; есть потенциал, приводящий в движение системы светил, и есть совокупность природжённых способностей. Есть огромные расстояния, большие дороги и высокие надежды; есть вестники, приносящие новости о шалостях любимых и кознях отверженных. Есть память. Времени – нет.

Есть ли смысл в беседах с отражением на дне чёрной кофейной кружки?

Ее зеленое пламя

– Шихерлис, люби его – и будешь счастлива! – и губы, прервав причудливый танец, споткнулись о хрупкую кромку бокала. Зоя любит янтарный, лучистый дурман: дурман молдавских настоек, слитый с солнечным, блещущим безуминкой взглядом Владова – и Зоя впивает по капле мечту: забыться бы в сладкой бессоннице, пропасть бы в пропасть, в его странные, чёрным шёлком трепещущие зрачки, и падать бы глубже, в уютную бездну, где вкрадчивый голос:

– Совсем рехнулась, подруга дорогая? Кому ты шихерлис желаешь?

Зоя и не сразу сообразила, что бы ответить, так только – на всякий случай – выпалила: «Вечно ты, Линка, всё опошлишь!». Одними глазами смеющийся Владов взялся, как джентльмен, разъяснить ситуацию.

Никаких пошлостей, что вы! Напротив, романтика и благородство – без декадентских, впрочем, вымококов. Так что оказалось-то? Шихерлис – её, кстати, как и хозяйку этой импровизированной вечеринки, зовут Шэрлин, или нет? Неважно, пусть хозяйка лелеет крохотную гордость – это персонаж фильма, да, драматический женский образ, а вы что думали? Муж её, естественно, тоже Шихерлис, даже не то чтобы естественно, а вполне законно, то есть искусственно – «Ну не надо, Владов, не надо ёрничать, пожалуй-

ста!»). Тихие просьбы всегда умиротворяли Владова и спелёнывали его, как младенца. Он начинал даже как-то по-детски сиять – словно алмаз, впуславший в себя лучик света. Оттого-то, наверное, его и любили ценительницы драгоценных диковинок. Простое искусство быть драгоценным... Впрочем, только Владов знал, чего стоит такая огранка.

Втайне от всех он считал себя ювелиром в том, что казалось сердечных привязанностей. Все своё носил в себе, все свои инструменты – пронциательность, вежливость, умение взорваться вовремя потоком острот и лавиной шалостей, и самую малую толику утончённой жестокости – чтобы изредка якобы невзначай оскорбиться, стать холодным величественным обсидианом, отвергающим колкости и капризы тех, кто любит украшать свою жизнь нечаянными связями и преднамеренными изменами.

Да, он считал себя ювелиром в этом деле, и с терпеливым упрямством выискивал, чем зажечь огонёк в изумрудных глазах Зои. Какие-то вздорные книги, чьи-то напыщенные стихи, кем-то неспетые песни – всё проскальзывало мимо её сердца, всё было неправдой, неправильным, не становилось оправой для этого самородка, этой избалованной ласками златовласки. Сколько это длилось? Сто тридцать пять дней, кажется, и Владов уже начал робеть, ведь из задуманного рисунка затаённых улыбок, многообещающих намёков и приглушённых нежностью жестов – из всего этого рисунка ни одна чёрточка не послужила основанием узора, о котором

мечталось в бессонные полнолуния.

Да, он уже начал отчаиваться и сомневаться в своём мастерстве, как однажды... Фильм. Просто кинофильм. Просто десятки километров киноплёнки. Просто призрачный мир дьявольски коварных и ангелично мудрых. Там, само собой, стреляли, гнались, добивали раненых и возвращали с того света полумёртвых —

а хрупкая, белоснежная Шэрлин Шихерлис всё ждала домой с перестрелки своего шалопаю Криса, крошившего людей в костяную крошку за пару сотен тысяч долларов.

И пьяный Крис целовал в казино чьи-то изящные ступни.

И, очнувшись, шептал: «Для меня солнце встаёт и заходит лишь с Ней!».

И Шэрлин, белоснежный цветок, путалась в чьих-то руках, в извивах хмельного забытья.

И как бред жестокого похмелья: упёршийся в спину ствол, и жёсткая речь: «Просто укажи на Него, когда Он придёт».

Тогда-то Владов, греясь в лучиках внезапного озарения, улыбнулся: «Она отпустит его. Лишь бы с ним ничего не случилось – до самой смерти». Зоя вздрогнула: «Как? Как ты мог догадаться? Откуда ты знаешь меня?».

И что-то сокровенное уже лучилось, какой-то крохотный пылающий секрет, обжигающий сердце – в крови, в тёплых

волнах внизу живота, в искорках на кончиках пальцев,

и Крис, израненный, добравшись до родного окна, вливал улыбку в губы Шэрлин, она? А что – она? «Это был не Крис». И ушёл от засады, чтобы уже не вернуться к смерти, канул в восходы и закаты,

а Зоя уже не скрывала зелёное пламя – вспышку зрачка – изумрудный взрыв: «Владов, сегодня я твоя Шихерлис!». А Владов, ещё не веря, вздрагивая под искорками прикосновений, восхищённо выдохнул:

– Знаешь, мне цыганка нагадала, что умру на пике страсти.

– Умрёшь?

– Умру.

– Умри.

И, прежде чем во все её лунные впадинки хлынул солнечный ток, Зоя прошептала: «Пусть горит огнём твоя Шихерлис!».

Тихий танец

Владов – и упрёки? Этого Зоя не могла представить. Какие к дьяволу упрёки, когда Его Бархатейшее Светлейшество изволит танцевать? Он так и выпевал: «Мне станцевалось». Или: «Мне влюбилось». Зоя притворно сердилась: «Как это так? А я? Я – ни при чём?». Владов, хмурый ребёнок, расцветал. Как не расцвести самому, если видишь, как раскрываются лилии?

Зоя раскрывалась, и оказывалось, что в кувшинке её души мирно уживались золотистые светлячки мечтаний и вороны похороненных надежд, неуловимо воздушные ласточки радости и пламенистые драконы гнева. Да, и драконы гнева, и не только мирно уживались, но и устраивали временами завораживающий танец. Вы видели, как танцуют птицы души? Неужели нет? Смотрите – ... Не видите? Жаль. Владов – видел. Видел скользящие тени затаённых обид; видел всплески восторгов и кружение причудливых прихотей; видел всё, почти всё. Иногда он мечтал стать призраком и следовать за ней по шумным улицам и малолюдным переулкам, чтобы взглядываться в лица встречных: кому улыбнулась? чему удивилась? что ещё осталось скрытым в бутончике сердца, в сокровищнице Королевы Лилий? Да, мечтал стать призраком, вездесущим дыханием – чтобы согреть навсегда её вечно зябнущие пальчики...

В одно ветреное, хмельное воскресенье он увидел, как сны запутались в её волосах. Владов попытался её окликнуть, но Зоя уже блуждала в призрачном храме сокровенных желаний, и сквозь её улыбку лучилось счастье восхищённого ребёнка. А он не мог уснуть, он всё ещё вспоминал, как лепестками роз срывались поцелуи, и вдруг осмелел, решился, и начал совершать то запретное, что... Что же он делал? Он и сам не смог бы ясно ответить. Да, Владов не смог бы достоверно объяснить, как он проникал в чужие сны. Не мог, не получалось, не находилось подходящих слов – и, естественно, никто не верил в его власть над снами любимых.

Что самое обидное – после невнятных владовских рассказов о колдовстве его начинали считать тихим сумасшедшим. Страшнее же всего были мысли о том, что и Зоя видит в нём лишь наивного мечтателя, нарциссичного декадента. А ведь всё получалось у него вправду, и вправду просто – сначала возникало лёгкое покалывание в кончиках пальцев, потом сгустки света срывались каплями, и вот он уже вскрывал лучами обитель сновидений, там —... Владов знал, что женщина – озеро, дна которого не достигнет сияние самой яркой звезды.

И в этот раз, в это воскресенье, как обычно, он начал певуче, гортанно выкликать повеления танцующим теням её души, но слов не было, звуков – не было. Мелодия – была. Мелодия, тяжёлая, как сгусток крови, исцеляющая, как поцелуй, волнующая, как вызов на поединок, – мелодия касаний:

чуть дерзких, чуть властных, обращающих непокорную орлицу в притихшую горлицу, – лучащаяся мелодия движений, высветляющая укромные тайники души. Владов выпевался всем сердцем, словно повторялся во времени, заново переживал прожитое – расцветающее утро, тропинку вдоль обрыва, вдоль Тайного пруда, к тихой заводи, где озёрная просинь словно густела, скрывая от жадно-любопытных глаз беззащитный стебель последней водяной лилии, уже увядающей. Над зыбким покровом опавшей листвы, под навесом бесплотных, безлиственных ветвей ивняка она покачивалась – суматошно, беспорядочно, – и горделивую белизну лепестков жадно целовывал пронзительно воющий ветер.

«Владов, смотри! Она как я. Как моё последнее желание. Вечно живое и вечно безнадёжное желание – Солнца и Любви! А поздно – уже отцвела. Я подарю её тебе, Владов, подарю своё заветное желание», – и Зоя шагнула по листвяному ковру... *Никогда по воде не ходили ждущие света и жажущие милости.*

Не важно, чем Владов отогревал вымокшую Зою – крепкими напитками или крепкими поцелуями. Не важно было, признает ли его Зоя колдуном, или нет. Что важно? Больно было слышать: «Что ж, я так и не подарю тебе свой цветок. Может, не судьба?». Пусть больно. Пусть больно вспоминать нечаянные грусти. Всё равно Владов уже осмелел, и льёт мелодию в Зоенькин сон, и Зоя танцует по озёрной просини, по небесной просини, и пусть цветёт эта лилия – несрывае-

мо, вечно, – и пусть ждёт на берегу сумрачный колдун в бархатистом плаще, пусть ждёт, пока её не вынесет к Солнцу, ведь оно родит ей ожерелье лилий, – и там, где-то над небом, уже за небом, там Зоя очнулась, восхищённая ласточка: «Что ты делаешь со мной? Ты что, волшебник?». Что он мог ответить? «Мне станцевалось». Зоя вспыхнула: «С кем? А я? Почему без меня?» – и словно гневный дракон вонзил коготки в отворот воротника, и Владов снова вдохнул её танцующее пламя...

Никто ещё не признавал Владова повелителем снов.

Девушки, сбегавшие от Владова с завидной регулярностью, становились психологами либо пациентками психологов. Владов становился лучшим из их воспоминаний – ярчайшим, ослепительным, жгучим до боли и судорог. Такое положение дел Владова несколько не радовало, только смешило, но смех был злой. Зоя же... Что ещё вы хотите знать о Зое? В Зое был мир. Вот так вот. И даже – танцующий мир. Владову казалось: всё, чего он хочет – видеть, как по глади неба танцует гневливая лилия, – и Владов тихо улыбался, зная, что завтра он наденет светлейшую рубашку с отметинками Зоенькиных зубок.

Чистое отражение

У Владова *будет* блестящее будущее. Никто никогда в этом не сомневался. Твердили на сотни голосов: «Слишком умён, чтобы быть безызвестным». Владов поправлял: «Слишком умён, чтобы стать счастливым», – и словно наваяние одолевало: какая-то горечь ложилась на губы – словно ненасытная бледная немочь тянулась к поцелую. Простите, какое будущее может быть у человека, шепчущего женщинам: «Смотри, как в раскрытый зрачок ночь бросает вороха своих лилий»? Никакого. Мне кажется так. Но – все всё знали о будущем Владова. Кто знал о его настоящем? Чем, по-вашему, он занимался спросонья? Считал компьютеры. Один – порядок, проснулся дома! Три – чёрт, опять родимая редакция! Пять – мамочка, всё ещё типография! Нет компьютеров? Подобные пробуждения влетали в копеечку – службы поддержания порядка неумолимы.

Сегодня компьютеров насчиталось около десяти тысяч. Владов решил – глаз больше вообще не открывать, тем более, что их заливало какой-то жгучей красной густотой...

Не врите, не был он истериком. Шизофреником? Кто вам сказал? Зоя? Нашли кому верить! Зое нельзя верить. Зоей можно любоваться. Можно и нужно. Даже – необходимо. Необходимая всем, не обходимая никем. Почему? Потому.

Желающим знать подробности – обращайтесь к справочникам по психологии. Почему да почему! Где вы видели мужчину, не желающего овладеть податливой мягкостью? Где вы видели мужчину, сносящего вызов дерзкой строптивости? Неужели видели? Вам не повезло. Не тех вы видели. Настоящих мужчин ищите возле Зои. В этой пёстрой стае Владов хотел стать... Вожаком, что ли? Нет. Вот как раз в любви к Зое ему не требовались последователи. Может, хотелось стать победителем? О, кстати: её любимая песня – «Победитель получит всё»... Вообще, женщина, конечно – весьма опасная игрушка. И притом необычайно дорогая. Владов сцеплял зубы: «Я не наездник и не скакун. Ни в каких состязаниях участвовать не собираюсь. В призах не нуждаюсь. В развлечениях тем более». Ну и, естественно, стоял особняком от толпы Зоенькиных воздыхателей, худющая мрачнатица. Из-за всегдашней угрюмости Владова подозревали в тайной склонности к сажанию живых людей на колы.

Человеческое сердце – драгоценность, но никак не игрушка. В этом Владов был уверен нерушимо. Кем он хотел стать для Зои? Повелителем желаний и хранителем надежд. Этого он хотел, в это он верил, и более того – так он веровал. «Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и есть Бог, и Бог есть Любовь», – так ему говорили, мягко журуя и пытаясь наставить. «Вначале была Власть, Власть была у Господа, и Власть была Господь, и любуйся Властностью, и властвуй Любовью», – так он восставал, и обычники шара-

хались от него, как птицы от молнии... Один. Владов не боялся одиночества, как и никто не боится верных друзей.

Ещё когда они поднимали тост за свою первую встречу, за первые откровения истомившейся крови, Зоя, лукаво улыбаясь, вымолвила: «Мне кажется, наш роман в твоей жизни будет самым эстетичным и глубокомысленным, самым-самым из всего, что с тобой было, из всего, что с тобой будет», – и Владов улыбнулся, но это была улыбка... Разве это была улыбка? Так дрожат губы у приговорённых к одиночеству, и радость отшатнулась от сердца, и он метался меж стен своей вдовьей квартиры, ломая крылья и когти о камень, зная, что Зоя, озолоченная солнцем Зоя – она не останется с ним навсегда.

Эстетизм? Ну-ну. Был фильм о любви Шихерлис к разгильдяю Крису; были Рахманинов и Вагнер, и Зоя, оглушённая «Летучим Голландцем», трепетала в ладонях Владова; были листы нетерпеливых посланий, исписанные торопливым почерком Владова, явно захлебнувшегося полнолунием безумием; всё это было и всё это иссякло. Что осталось? Владов, пустая постель – и ночь никаких таких лилий в его зрачок не бросала, – лишь чёрная гуща лилась прямо в сердце. А ведь было всё, и Зоя, задыхаясь, стонала: «Мне хорошо...». Или: «Мне так хорошо...». Иногда: «Мне так хорошо с тобой...». Но что-то явно недоговаривалось, не было каких-то ясных и верных слов, о себе-то как раз Владов ничего и не слышал, и словно поскальзывался, и ушибленное серд-

це постепенно переставало доверять. Ведь всё было ясно – её Вадим не станет долго смотреть сквозь пальцы на «молодёжный период», и Владов не станет отцом её детям – ведь он годится им в братья, и... и... и... Когда-то Владов всхлипывал от счастья. Теперь...

Как всегда, они встретились у перекрёстка, где схлёстывались потоки вечно куда-то опаздывающих преследователей Мечты. Да, оставался последний перекрёсток, последнее распятие одиноких дорог, оставалось только причаститься к последнему ожиданию – и всё, и будет беленький домик Клавдии, и можно будет рухнуть в колыбель полнолунных надежд... Выждав, пока схлынет волна нечаянных соглядатаев, они вместе шагнули на уже затухающий зелёный свет. «Слушай, по моим звонкам ты мчишься, как на пожар! Здорово, я люблю скорость», – так она пошутила, но Данилу не стало смешно – на скорости тысяча чувств в минуту с сердцем не шутят – у самого порога улыбки он замер, выдохнул: «Остановись! Останься со мной! Оставь мне свой заветный цветок!». «Милый мой, все цветы увядают», – и Владова понесло, он не мог уже остановиться, и так он выпалил: «Я никогда не был для тебя Животворящим Солнцем, да?». Зоя растерялась: «Но я же... Но мне же...», – а Владов-то никогда не ошибался, вот что! Зоя всё ещё продолжала что-то лепетать, а Владов уже уходил Карпатским бульваром от дома Лины, мимо Тайного пруда с зачахшей лилей – обратно в заплёванный подъезд. У лифта скорчилась де-

вушка в наручниках. «Вы обручились или вышли замуж?» – съязвил Владов. Спокоен был? Был чист. Словно стряхнул наваждение. Чист и светел, как свежий пепел. Пока переодевался, пока менял бархатистую «тройку» на латаные джинсы и «косу»», решил, что хватит. Не бывать больше ни пьянящему смеху вагнеровского «Голландца», ни отрезвляющим рыданиям рахманиновского рояля. Будет безыскусственный, искренний грандж, будет дикий и дерзкий, гремучий «Жемчужный шорох». Будет: «Если я: беспечный ездок – стань отражением в зеркале заднего вида». «Вот вам и весь эстетизм», – прошептал Владов и колени подкосились. Дряхлый мотоцикл впервые завёлся с пол-оборота.

Раньше первых вздохов рассветного ветра его вынесло на объездную. Где-то меж ушами, в громадном пустом куполе ещё журчал «Жемчужный шорох». Владов поправил зеркало заднего вида. Полюбовался отражением – чисто. Безупречная чистота небес. Ни тебе танцующих лилий, ни яростных драконов – никаких вам, батенька, Шихерлис! Перед ближайшим столбом нажал на газ. Ушёл вчистую.

Никто и не сомневался, что у Владова впереди головокружильное будущее.

Сомнительное удовольствие

«Не может отказать себе в удовольствии», – подумал Владов, когда рядом с ним присел на корточки, удивляясь владовской кровавине, патрульный.

«Не может отказать себе в удовольствии», – ухмыльнулся Владов, когда реаниматор, сшив последнюю владовскую разрывинку, завопил: «Как новёхонький!».

«Вас, милочка, я удовлетворять не собираюсь», – озлобился Владов, отшвырнув сиделку, настойчиво тряскую «уткой».

«А ты, тварь, вообще наслаждаешься!» – выпалил Владов донельзя молоденькой психиатрисе.

– Чем же? – удивилась изнеженная умничка и разъярённый Владов притих, убаюканный её текучими жестами.

– Властью над больным человеком, – нехотя буркнул Владов. – Для вас больные – как глина, из которой вы лепите образ и подобие здоровья. Вы удовлетворяетесь властью над ослабевшими людьми.

– Что плохого в удовольствиях? Или вы предпочитаете страдания? – всерьёз обеспокоилась девочка, и, беззащитная такая, сжалась, когда оправившийся, осмелевший Владов, смеясь, втекал сквозь её зрачок в храм сомнений.

– Я предпочитаю обладать и быть обладаемым, – и Владов начал... Что имел под сердцем, тем и начал. – Я предпочитаю

подчиняться и владеть, но всякое владение и всякая власть основаны на ответственности, и на беспокойстве, и на заботе, и на нежности даже. Никто ведь не хочет обладать ненавистным, но все хотят того, что обожаемо, чем любишься...

– Я вас выписываю, – сдавленно пискнула Леночка Нежина, всегда воображавшая себя ведуньей, – вы совершенно здоровы...

И дело о попытке самоубийства тотчас же закрылось. Нежным бельём.

«Не могла отказать себе в удовольствии», – отчётливо произносил Владов, и: «Стой, останься, стой же!» – захлёбывался криком. Очнуться было не сложно. От пощёчины-то не очнуться? Да бросьте!

Очнуться было не сложно. Сложно было... «Забыть, забыть, забыть, забыть бы», – мелко стучал зубами Владов, закутавшись в протёртый плед. Леночка стреляла взглядом в Ларису, спешно листала страницы книжищ. Страсть! страд! страх! – листочки корчились, строчки хлестали петлистыми нитями, Леночка путалась. «Нашла?» – Лариса подставляла ковшик с пуншем, Охтин: «Ничего, ничего, я вытру!» – разливал пряную кипель. В стаканы тоже.

После этих гипнотических сеансов, сеансов принудительного воспоминания – после них было трудно шевелиться, не то что думать. Правда, приходила свежесть. Даниил с удивлением прислушивался к собственному голосу, чисто-

му и звонкому: «Ради чего я должен вспоминать о том, чего лишился?». «Чтобы сделать память ясной, а сердце чистым, свободным от заноз, чтобы расстаться со страданием и страхом, порождениями страсти», – шумели влажные губы, и волосы твои, Лена, как две волны, отлетающие от мраморного лба! «А ты, однако, колдунья», – восхищённо шептал Охтин, раскрытую ладонь вручая как подарок, получая лёд. Леночка мерцала своими чёрными звёздами в Ларису. Кивок, поклон, спокойной ночи, и Леночка покоила фарфоровые щёчки на кукольной подушке. Охтин метался, не решаясь целовать. Круги по спальне выводили в кухню, к раскрытому окну и съёжившейся тени. «Не спится, князь?» – выпрямлялась Лариса, а Охтин, ссутулившись: «Не называйте меня князем. Нет у меня никакой родословной. Драконит – это не династия. Драконит – это скиталец, блуждающий в сумерках, между светом и тьмой». «Дело не в родословной», – вздыхала Лариса. – «Чем ты на самом деле владеешь? Что ты можешь? Что у тебя есть ценного? Властность, влияние... Надо ведь воплощать свои способности в жизнь...» – а город уже угас, и ни единой светлинки не ластится к зрачкам, и ни единая огнёвочка не сплясала в сердце, и только голос плывёт по волнам тьмы: «Просто я как принц в изгнании. Я владею только своим сердцем, своим разумом, своей памятью». «Да уж», – зябко ёжилась мать-одиночка, – «ни наследства, ни собственности, одно лишь самообладание... Таким богатством даже невозможно поделиться». «А почему я должен

делиться своим сердцем?» – вспыхивал Даниил, и вспыхивал свет, и Лена не могла разнять... Кого? Леночка так и не могла понять, что не поделили *вдовец* и *вдова*.

Но это будет ночью, а сейчас можно напиться пуншем, и можно разглядывать надписи на стенах: «Есть Бог, и Бог есть Любовь», «Содеянное во имя Любви не морально, но религиозно», – и что-то ещё, но Владов вдруг обжёгся, оглядел двух широкобёдрок: «Так что вы скажете? Как мне эту ведьму рыжую забыть? Что мне делать?». «Нельзя поддаваться призракам. И вообще, все призраки рождаются из твоего воображения, так что», – и Владов отражался в льдистых Леночкиных белках, и беседовал со своим отражением. «Истина в любви», – сверкала Леночка кристалликами зубок. «Никогда не ищут истины, но всегда – союзников в борьбе за право рода стать вожатым соплеменников, и воля одинокого – стать родоначальником дружины», – отчеканивал Даниил. «Твой дед Владислав тобой бы гордился», – так шептала восхищённая темноглазка, и: «Да, я прямо пророк. Из малых, правда. Нихт зер кляйне, но всё же», – так темнел Даниил...

...это звучит красиво, да: «болен любовью». И они пытаются меня вылечить, представляешь? Каждый раз всё проживается заново. Лена произносит какие-то странные слова – и включается та жизнь, тот мир, мир с Ней. Я кружусь в танце по имени Зоя и не вижу причин мешать дири-

жэру. Но в мелодию вальса врывается лязг и скрежет, и вот уже белый потолок, белые стены, грязные бинты. Она шепчет мне в память: «Мог бы подождать чуть-чуть. Немного ожидания – и я бы решила, быть ли мне с тобой. Но ты хочешь жить так, как ты хочешь, и только так. Только твои чувства, только твои мысли о том, что правильно, что жизненно важно. Ты не хотел отречься от своей любви? От своей гордыни. От своей детской мечты. Ты твердишь о чувстве власти? Ты не смог быть королём своих желаний. Твои подданные вынудили тебя к самоубийству. Как ты, такой, рассчитывал управлять нашей общей судьбой? Не тревожь меня больше». И Её голоса не стало. Осталось забинтованное сердце. Остался ворох лилий в изголовье постели.

Если любовь – это ключ к тайнам сердца, то это и пароль в мир безрассудства, в царство безумия. Это ключ к дверям смерти.

Темные строки

Следует признать несколько азбучных истин.

Истина минус один. Ты рождён потому, что родители сочли необходимым и неизбежным твоё рождение, потому что родители возлагали на твоё рождение свои надежды и свои ожидания.

Истина номер ноль. В жизни, в твоей жизни и жизни окружающих тебя людей, нет никакого от рождения присущего смысла, кроме смысла ожиданий твоих родителей. Есть лишь очертания, наметки, контуры – берега возможностей, способностей, талантов – в пределах этого русла ты можешь двигаться, обретая умения, совершая осмысленное – осмысленное, в худшем случае, тобою и более никем.

Истина номер один. Никто никому не нужен таким, каков он есть. Каждый обладает набором отличительных качеств – палитрой, гаммой, спектром. Окружающим нужны лишь части твоей души, крупницы, краски, ноты – те, в которых они нуждаются, которых не хватает им самим. Весь, целиком – ты не нужен ровным счётом никому.

Истина номер два. Качества твоей души – это наиболее сильные желания, господствующие, и ослабленные, затуманенные, затемнённые, теньевые. Помимо желаний, ты обладаешь способностями к осуществлению желаний, гос-

подствующих и теневых. Чем больше сил ты тратишь для насыщения господствующего, преобладающего, тем сильнее голодает обездоленная тень, тем крепче иллюзия, что тебе пора насытить этот голод, тем сильнее соблазн свернуть с ясного пути в туман грёз.

Истина номер три. Если обручаешься кольцом смысла, если готовишься все свои силы вложить в преобладающие части души, если готов лететь лучом – будь готов лететь в окружении сов, тянущих к земле, жаждущих отнять добычу – будь готов к соседству вечно голодной тьмы.

Если ты выучишь эту азбуку, ты сможешь прочесть Минус Книгу. Тогда ты дашь ответ на вопрос – чего ты так жадно ждёшь от любимых? Ты ли ждёшь? Или твоя тень? И так ли светлы эти ожидания? Если ты ждёшь яркого света – разве ты не сама тьма?

Мне кажется – когда я переверну последний лист Минус Книги, мне останется сделать один-единственный шаг в глубину Её души, в чашечку светлого цветка. Отец отцов, весь Род, и Отец Рода – ждут Её цветущее пламя, чтобы влиться, избыться, чтобы сбиться вновь – чтобы шествовать сквозь время, меняя облики, чтобы разлиться по миру морем – одним-единственным всемирным родом, не встречающим на пути чужаков...

Клара восхищённо оглядывает смолкшего Даниила:

– И это вы думаете от любви к Ней?

– Он, он, – бурчит Милош, ширкая вилкой в чёрной тарелке. – Думает он, пишет его брат, а читаю я.

Клара хмурится, вглядываясь, как Милош разжёвывает жаркое. Клара бледнеет, всматриваясь, как Владов вглатывает кровавые струйки вина. Клара, зардевшись:

– С вашими ушами миром править!

Если Борко хохочет – вызывайте «Скорую». Или зашейте уши. Иначе эпидемия хохота опустошит городок, и без того не часто посещаемый плодовитыми знаменитостями. Смех – единственно приятная зараза.

Смеховинки пылятся шипеньем шампанского и лопаются пугливо. Даже скрипки, и те, кашлянув, смычками вязнут в тишине. Если девушка смеётся – завидуйте, сколько влезет. Если девушка плачет – что вы пялитесь? Вот так. Носы в тарелки! Вынюхивать смачные охтинки.

У Клары улыбка робко мечется чайкой, взлетает сквозь тяжёлые, томные капли. Вот-вот, и захлебнётся горечью:

– Я забыла. Вы властолюбивый. Меня учили, как понимать, а я забыла.

– Милош, не валяйся на полу. Кларочка, кто тебя этому учил?

Как можно эти плечи оставлять без плащаниц? Как можно эти пальцы, это веющее у виска, навевшее радугу слезинок, как можно это не упрятать в уютные меховушки? Ведь смёрзнется, застынет неприступным гордецом. Клара, отта-

яв капелью, обнажила карие проталинки: «Лариса Нежина».

Сквозит. Как сквозит! Прикройте окна. Понапускали кровососов! Милош мечется в тарелках. Милош обожает жаркое. Милошу приятно распробовать каждое волоконец, каждую продолинку, каждую кровавинку молдавских настоек впитать. Учили её! Впрочем, если ученик не понял преподаваемого урока – его ли это вина? И если тебя учат искусству рядиться в одежды всезнайства... Любит Милош втыкать ножи в живых людей? Вряд ли. Он любит раскуривать сигарку «Кафе Крем». Всё это – так, смутки. Дымчатые петли. Затяжки обидок. Промчитесь сквозь ночь, окунитесь в зарю. Ахните в дождь, слегка распояшьте. Не стискивайте зубы, Даниил Андреевич. И вот чего:

– Что, припёрла, наконец, пустота? Такая пустота! Ты уже до краёв любовью своей переполнился, а вокруг тебя пусто. Излиться не во что. Не в кого Дух свой излить. Все хотят собой что-то наполнить и заполнить, заполонить всё и всех без остатка. Каждый ищет в другом человеке пустот, дырок и норок, и чтоб они были тёпленькими и уютными. Чтобы повсюду свои щупальца распустить. И вот копошатся, вот копошатся! Я? Покоя хочу. Хочу все свои щупальца назад втянуть. Чтобы переполниться. Ну, хоть бы и так – наслаждаться собственным соком. Кто нарцисс? Сам ты настурция! У тебя самого-то лилии куда там падают? В зрачок, вот именно! Потому что ты пустой. И ты пустая. Пустая и уютная. Поэтому привлекательная и обольстительная. Даниил Андреевич,

ты куда? О смысле жизни там подумай. Желая облегчения. Ещё хоть раз напомнишь ему о Нежиных – всех твоих учителей перевешаю, ученица чёртова.

Милош доволен. Милош сыт по горло. Милоша в живот не бить. Милош доволен – девочка всплыла, рвётся из рук, полыхает павлинкой. Правильно. Хватит туманиться. Лучше сверкай зубками:

– Я сама решу, о чём вспоминать. Пусти руку!

Бокалы – звонкие склянки. Отчаливаем. Пусть штормит.

...ночь: ненасытный палач – пока не выпытает сны, не вдохнёшь конопляных зарниц – дымчатых, узорчатых зарниц. Ночь, ненасытный палач, всё высушивает, высушивает, судейской мантией скрывает зеркала: «Недостойн, раз и навсегда!». Недостойн осветиться раз и навсегда.

В сны всматриваешься как в зеркало, и если бы меня возмутил раздор теней, если бы меня смущало смирение ангелов! Я разъярён явью. В сны всматриваешься как в зеркало: беспощадное, откровенное – его бы вдребезги разбрызгать лоскутками осколков! Хватит любоваться – экакий соблазнительный самодоволец!

Дождитесь! Я не буду спать. Пока я сплю, вы ланцетом луны вживляете мне старость.

Я не буду спать. Я буду гулять с наивной поклонницей. Вдоль бульвара, поперёк бульвара. Вскачь и впрыть. На Кар-

патском, конечно. У Тех, Кого Ждут. Где ещё у нас можно девушек выгуливать?

На Карпатском не бывает драк, на Карпатском нечем поживиться полицаям. На Карпатском некому буяннить с тех пор, как у Милоша кого-то ждут. Милош не верит в закон, в порядок, подкреплённый словом – Милош верит в порядок ножа и пули. Но моя пуля, пуля для меня, ещё не родилась, мне можно встать под любым фонарём, расхохотавшись во всю дурь, плюнуть в желтушный зрачок луны, да, оскалиться зверино:

– Если Лариса станет распространяться о том, что я всего лишь влюблён в призрак, в собственную белую горячку – не верь. Выбирай, кому доверять.

Милош морщится, и, скрипнув зубами, мелет:

– Даниил Андреевич, Данюшка, говорю тебе: Любовь – это праздник, жизнь – это будни. Нет, можно, конечно, верить в праздник, который всегда с тобой, но вот потом-то что будет? Похмелье? А оно наступит, обязательно наступит! Потому что любовь – это опьянение, опьянение восторгом и восхищением. Тебе не кажется, что пора уже и протрезветь?

У Клары стайки ресниц непонятливо мечутся.

– Милош, я обещал не ныть? Так я и не ною!

– Тогда я счастлив! – Милош, мельница смеха, с лопатниц ладоней сыплет прощания. И Клара, лодочкой-ладошкой плеснув, всплывает хрупкой щепочкой в говорливую

толпу.

Где праздник, за который заплачено рождением?

Праздник, который всегда ты

– Мне в своё время понравился Хэмингуэй. Особенно «Праздник, который всегда с тобой».

– Во-первых, не «в том времени», а «в том возрасте», а во-вторых, что там может нравиться? Я думал, он имел в виду любовь, любовь как чувство и как действие. Оказалось – он имел в виду Париж. Просто город. Если в городе нет любимых людей – что праздновать?

– Умно. Но при этом... Какой ты глупый! Париж – место любви. Город, созданный для любви. Представь себе – город, в который съезжаются влюблённые со всего света! Карнавал Любви! Такое может случиться только в Париже.

– И только в Париже могла случиться Варфоломеевская ночь. Собрать всех влюблённых в одну точку земного шара? Мило! Они перережут друг друга. За право подарить своей любимой лучший цветок. За право привести её в лучший отель. За право угостить её лучшим из вин. Вот так. А ты говоришь: «Прощай, оружие!», «Прощай, оружие!». И вообще – представь одиночку на Карнавале Любви.

– Только не надо! Не надо вот этих мессианских штук. Опять начнёшь: «Соборность, вселенское братство!». Ты умный. Я знаю. Я убедилась. Только ты вовсе не праведник. Ты порочен. Донельзя порочен. Дьяволёнок! Все дьяволы с тобой! Не смей! И здесь не смей! Там тоже не смей! Ммм...

Ещё не смей! И ещё...

«Так мало праздников», – вздыхала Марина, – «ты жмот, Данька», – и отворачивалась к стенке. – «Тебе так трудно потратиться? Прийти с работы пораньше, купить вина, конфет, газировки для своей маленькой Марушки, чтобы пузырьки, много пузырьков! Немного потратиться и в гости. Это так трудно? Ты слышишь? Ты меня слушаешь?».

Владов вздрогнул. На шатком стуле возле раскинутого дивана лежали ещё ни разу не сминавшиеся в коленях джинсы песочного цвета, и беленькие носочки, и раскрытая коробка с бежевыми замшевыми туфельками, и прозрачный пакет с белоснежной водолазкой, и на спинку стула наброшена куртка из лайки, и где-то в пакетах, брошенных у вешалки, есть коричневая береточка, и что ещё? «Мне вправду идёт?» – крутилась Марина возле огромного зеркала посреди расступившейся толпы, и Владов, оттеснив льстивых торговков: «Секс-террористочка!» – обхватывал за плечи. – «Жена секс-террориста!». В частном автобусе, тесном и тряском, почти с потолка навис коршуном: «Орланочка!» – и Марушка целовала остроузкую кисть: «Ты заботливый мой!»... Владов присмотрелся к стопке покупок. Да, ремень, ещё ремень, коричневый ремень с застёжкой-когтем. Опять уставился на монитор и опять добавил линию:

– Как думаешь – красиво получается?

В запястье вонзились ногти.

– Я твою бандуру вышвырну с балкона!

Владов клёкнул кнопками клавиатуры:

– Как только закончу – раскальвай и кидай. Как только, так сразу.

Распахнулись пакеты, прохрустел паркет, отмычал комод, прозвенели деньги.

Владов смахнул пепел с колена. Штановатая чернина размахрилась сединой.

– «Владов» и «Славия» я уже закончил. Ещё отрисовать «Доверие». И ещё сто пятьдесят страниц с буквицами и виныетками.

Завыли петли и в спину потянуло сквозняком. Владов заглянул в пустую кружку, прогудел:

– Мне холодно. Не держи дверь открытой. Много не пей. Не допоздна.

На смятую простынь упал кусочек штукатурки.

– Времени нет, милая.

– Как это так? Жизнь протянута во времени.

– Да. Жизнь протянута в хлёсткий ремень, и Смерть правит на нём свой нож. Но что из этого?

– Хватит о смерти! Смерть, кресты, монастыри, хватит!

– Ты постоянно вспоминаешь о времени, но не хочешь помнить о смерти. Странно.

– Ничуть! Ничуть не странно. Если уж remember, то о том, что forever и together. Несчастный английский! Три слова

стоящих! Остальные – квак и карк.

– Нет никакого времени. Есть количество следующих друг за другом событий, есть впечатления и переживание событий, есть ценность переживаний, есть степень впечатлительности, а времени – нет.

– Как это нет?

– Сколько мы знакомы?

Мы присели на эту лавочку, чтобы выкурить по сигарете, и так не разу не поцеловались, хотя скурили уже всю пачку. А такой ведь был вечер! Я в белой рубашке с хрустящим воротником, нет, галстуков не выношу! Ещё чего! Блестящую удавку на мою-то шею! И крепкий кожаный ремень, скрипящий под твоим мизинчиком, и лаковые туфли – в них можно отражаться, зачарованно следя за чёрным двойником, – и чёрный же костюм, беспросветной черноты, с внезапным переливом бархатинок, и, как всегда, змеёныш, обвивающий мне пальцы, замерший над чашечкой цветка. Без этого наряда Моя Бледность была бы напрасной. А так – Колосов вскочил: «Что случилось? У тебя траур? Или триумф?». Ещё не знаю, но Зоя ахнула: «Чёрный! Чернейший! И алмазы вместо глаз!». А как не быть бледным, если вслед за Зоей бежит зелёная шелковая волна, а из рыжего пожара, лижущего щёки, выплавился лёгкий лебедь с малахитовым солнцем в клюве... Вечер славный! На столах ты, правда, не танцевала, но как бы мы смотрелись вальсирующими среди бо-

калов?

Повсюду белые ручьи, всюду лёгкие капли. Капельки смешинок в уголках твоих глаз. Капельки крови в уголках губ ни разу не кольцовой девушки, случайно влетевшей в наш решётчатый коридор и онемевшей – бледная статуя вне полыхания танца, танцевания сполохов. Да, лицо статуи – три отчаяния, три окаменевших «о», три провала – рот и чёрные глазницы: «Почему не со мной?». Капельки серебра сережек, стекающие по моим кистям – ты отхлынула от меня, тебя подхватывает Колосов, как можно! Ведь ты тростинка, ты же флейта, я так боялся тебя расстроить, а с тобой уже топтужный, добродушно-бородушный, бородушно-мужный Плаксин! И всюду капли, всюду белые капли, всюду белый сок созревает в стеблях, и скрипят клыки. Я уже уронил один стул Колосову под шаг, и он, спохватившись во весь рост, что-то сообразил и решил пока Зою забыть. Магнитофон всё: «Орк! Орк!» – всё никак не отмотает, Зоя снова хочет объявить любовь наградой, «Победитель получит всё», победители всегда получают всё, и я уже пронёс три стакана мимо рта, и за нас! И теперь! И сейчас! И сейчас у бледного Алекса под белёсыми веками белый сон. Всюду стебли бредят стать стволами. Рыжее пламя плывёт между крон – меж пепельных, каштановых, тронутых инеем. Я – одинокий яшень, мечтающий сгореть, Зоя запуталась в моих ветвях, и тихий щебет: «Попробуешь меня сегодня? Жди. Я позову». И сердце понеслось по чёрным переулкам, в чёрные чаши, на чёрный

луг, где белый старик, дед Владислав, задумчиво разминает в пальцах лепестки белены, вдыхает – и хохочущее пламя ударяет в луговое перепевье, в гомон чащ, в людные переулки, в опустевшую высотку, где по первому этажу вызванивают каблучки капель, в утробу лифта прячется зыбкая зелёная тень, а Владов лестницей взлетает, и вот оно, бездонное небо, и лёгкие капли повсюду, и платье взвивается, пальцы роняют капли на влажную кожу, я огненное море, я возвращаюсь вспять, в рождающую дельту, и звёзды моросят звенящей пеленой. Лёгкая капель по жаркой талии, я здесь, я здесь, дотянись одними подушечками пальцев, я начинаюсь здесь, ты вывернулась лисичкой: «Не могу так! Возвращаемся! Быстро!»...

Всё как всегда, все праздники проходят, проносится шквал веселинок – устоявшие на ногах убирают ошмётки веселья. Кого-то от праздничной скатерти отправят в смирительную простынь, кого-то от праздничного стола уведут любить, уведут в праздничную постель. «Любить?» – переспросила Зоя, и, кое-как сглотнув жидкий огнеток, поправила: «Трахать». Охтин поперхнулся. У Зои глаза зелёные, злые, ноздри вздуваются, струйки дыма отстреливаются мимо губ, зубки отзванивают злорадинки: «Ты меня сейчас наверху что? Что делал? Любил? Трахал. Банально и беспардонно. Трахал».

Данилка разбил колено. На губах – кровавая прорва. Во лбу – набат. «Кто колдун – Влад? И ты – внук Владов?

Блядов!» – и хох-хах-дрызг-визг! Ветки рук отсохли, и Данилка яблоком сорвался в ноги. Тотчас бока набухли. Сок потёк. Веки склеило. «Охтин! Эй, парняга! Охтин, очнись! С кем был?». В пустом куполе влево-вправо заболтался флюгер. «Как – один? Почему тебя бросили? Совсем один? Всегда один?». В глубокий колодец занырял клювом колодезный журавль. «То есть вы доверяете мне отнять надежду? Мне – отнять у Марины Александровны надежду? Развод и только развод?». «Зиппо» – звонк! «А как же вы? Вы же не сможете безболезненно общаться с женщ», – и хрустнули под кулаком очки... Охтин сглотнул комок и выдавил: «Любил. И буду любить». Зоя оглянулась, скинула со стола в пакет бутылку, пачку, оглянулась, губы дрогнули, оглянулась, дрогнули, лопнулось: «Мигом! Нет! Жди! Вот, адрес! Двадцать минут!». Охтин хлынул светлыми ручьями.

Рецепт праздника прост – светлые ручьи и Зоя. Зоя – обязательный ингредиент для дьявольских коктейлей. Только кто вам сказал, что этот праздник про вашу честь?

И всё-таки это ещё не праздник. Праздник – это когда просто, когда... Стоять на остановке, проводив галдящую компанию – да, можете не возвращать, это мелочь, а вам нет, вы вернёте до копейки – и похрустывать коросткой льда. Под крепким каблуком петляют трещинки, моё зыбкое отражение распалось на десяток охтинок, на сотню, на мелкое крошево хрустких охтинок. Я под озером неба – один-един-

ственный Владов, а в заводах глаз, ваших глаз – орды Владовых, но я хочу окунуться лишь в листованую прозелень, и я надеюсь, что на дне зеленоглазой Зойки бескровная русалка не таится, не таилась, и даже не намерена селиться в её огневой головушке. Да, я хочу окунуться во влажную лилию, но я жду: все разъедутся – тогда. Тогда я помчусь – только бы не вообразить лишнего, а то расправлю крылья и уже не смогу приземлиться. Тогда я помчусь, и мне ободряюще подмигнёт светофор. Тогда я помчусь, и соседки Лины – беспокойные лесбиянки – начнут дубасить в стену, а мы будем сглатывать хохот, закусив запястья, и, может быть, проследимся над судьбой Шихерлис... Может быть. Может не быть. Кто может и с кем быть?

Всё может быть, но с каждым бывает. «Владов, сядь», – Клава подбулькивала ещё. – «Сядь-сядь, никуда не денется, придёт». «Владов, сядь», – стрелки ахнули на полкруга, Охтин изохал полкомнаты. Да, всё просто, такое может быть только в России. Только в России можно назначать свидания в домишке, наспех обляпанном побелкой, набухшей от дождя, настырного и въедливого, как всё мелкое – как мелкие рюмки, лезущие в руку, как мелкие циферки в очасовевших глазах; в домишке, где часы летят, как лепестки ромашки: «Идёт-не идёт, идёт-не идёт»; в домишке, где ещё надеются на чудо и ждут паршивку Зою. «Кто паршивка?» – и всюду лёгкие капельки, летящие с твоего плаща, и пьяные глуминки: «Смотри-ка, лишних два часа прождал!» – и ты, конечно,

вила петли, ты моталась на моторе, и охрипла, распевая песни со сборищем уверенных, что ты всю жизнь мечтала с ними петь застольные песни посреди шестисот тысяч видящих блудливые сны, и время, Владов, время, проводи меня!..

Хорошо, что нашлась лавочка. Хорошо, что дождь иссяк. Хорошо, что есть возможность любоваться друг другом. Хорошо, что времени нет, а ты этого не знаешь, и горячишься, тараторишь, смахивая маленькой ладошкой последние капли с моих плеч:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.